



ПОКОРМИ СЛОНА

18+

Алексей Игнатов

Покорми слона

«Автор»

2026

Игнатов А. А.

Покорми слона / А. А. Игнатов — «Автор», 2026

Восточный Техас, выжженный солнцем городок у реки Бразос. Маленький умирающий зоопарк — и при нём Том Джедд: двадцать три года, ухо лопухом, глаз косит, ни одной женщины за всю жизнь. Он сбежал от разгульной матери, отца не помнит и людям давно предпочёл зверей. А больше всего на свете любит слонов — за ум, за величие, за то, что своих они не бросают. В грозовую ночь старая слониха Армади приносит слонёнка, и у Тома впервые появляется то, чего не было никогда — семья. Доверчивый тёплый слоненок Эдди и хрупкое, невозможное доверие и счастье. Но платить за работу нечем, зоопарк дышит на ладан, а в мире, где за чужую боль дают хорошие деньги, всякую любовь ждёт проверка и иногда предательство. И вот однажды за углом окажется не киоск с мороженым. Повесть о нежности, любви и предательстве, о грязи и высоте человеческой души — и о справедливости, древней и неотвратимой. Слон помнит всё.

© Игнатов А. А., 2026

© Автор, 2026

Алексей Игнатов

Покорми слона

Глава 1

Покорми слона

Глава первая. Пекло

В том краю восточного Техаса, где холмистая, поросшая дубняком саванна устало сползает к Мексиканскому заливу, рассвет не наступает. Он подкрадывается — низом, на брюхе, от реки.

Река эта — Бразос. Старая, широкая, ленивая, цвета кофе с топлёным молоком. Испанцы, что шли здесь первыми и умирали от жажды, назвали её Los Brazos de Dios — Руки Господни, — потому что вода её спасала гибнущих; а после та же вода в половодье топила спасённых, заливала поля, уносила скот. Тут всё так: одной рукой дают, другой отнимают. И по ночам Бразос дышит холодом. В её низких поймах, заросших ивняком, диким виноградом и сахарным тростником, речной этот холод к утру сгущается, отпотевают от тёмной воды белым паром, и пар встаёт стеной, потом опадает, стелется — и ползёт по земле, слепой, молочный, живой.

Туман идёт низом. Он затопляет заливные луга, обтекает купы вековых пеканов и корявых дубов, лижет ржавую колючку оград, вливается в каждую ложину. Коровы стоят в нём по самую холку, как в парном молоке, и над белым пологом плывут одни только чёрные спины да рогатые головы. Доползает туман и до маленького облупленного зоопарка на краю городка Колдуэлл: просачивается сквозь ячею сетки, стелется по дорожкам, обнимает вольеры. А после, когда край земли на востоке набухает персиком и кровью и над поймой встаёт солнце — белое, беспощадное уже с утра, — туман начинает пятиться. Он уходит от света, как здесь уходит от полуденного пекла всё живое: сползает в низины, вжимается в тень под кусты, забивается под всё, что сулит прохладу. И под старый трейлер зрителя, что стоит на бетонных блоках у самого забора, туман тоже стягивается последним холодным клубком и заползает в темень подпола — а с ним, спасаясь от близкого солнца, уходят под пол и другие ночные твари: серый техасский полоз, что живёт там и кормится мышами, да броненосец, что всю ночь рыл под полом свои ходы, да сама остывшая ночная свежесть. На рассвете здесь всё живое прячется в землю. И только человек да звери за решёткой остаются наверху — встречать день.

А день будет долгий и лютый. Летом тут ветер всегда с юга: приходит с Залива, тёплый и мокрый, и тащит на хребте столько влаги, что к полудню рубаха на спине хоть выжимай, а к четырём над плоской, дрожащей от зноя землёй вырастают исполинские гроззовые башни. Зимой по-другому: тогда с севера, с Великих равнин, срывается «синий норд» — стена ледяного ветра, что за час роняет тепло на сорок градусов и морозит скотину на ходу; старики говорят: завидел на севере синюю стену — бросай всё, гони под крышу. Но то зимой. А нынче стоял июль, самое пекло — «собачьи дни», когда небо выцветает добела, земля трескается на квадраты, твёрдые, как обожжённый горшок, и в трещинах кишат огненные муравьи, привозные, жгучие, от чьего укуса вздувается белый волдырь. И цикады с первым лучом заводят одну на весь округ раскалённую ноту и тянут её, не смолкая, до самой темноты.

Сам же зоопарк был — не бог весть что. Так, клочок пыльной земли на выезде из городка, зажатый между лавкой кормов «У Дуэйна» и баптистской церквушкой, обнесённый провисшей рабицей. У ворот — фанерная вывеска, на которой местный богомаз лет тридцать назад намалявал слона, синего и косоглазого; краска слезла, и слон глядел на въезжающих одним уцелевшим глазом, будто подмигивал: заходи, мол, чего уж там. За воротами — гравийная стоянка, где всегда пусто, будка кассы да с десятков вольеров вдоль растрескавшихся дорожек. Заведеньице дышало на ладан, но было живое, и у каждой твари в нём был свой нрав и свой час.

Первым, ещё в потёмках, доводил ночную песню козодой — большой, невидимый, он трижды выкрикивал из дубов собственное имя и смолкал. Потом, когда серело, старый лев Самсон — облезлый, с проплешинами на боках, с большими лапами, что спал по двадцать часов в сутки, — поднимался, кряхтя, и ревел на весь округ. Ревел не по злобе, а по привычке,

по памяти: король, что давным-давно потерял королевство, а корону снять забыл. Отревет положенное, он с достоинством заваливался обратно спать до обеда.

На львиный рёв просыпалась и заводила свой ежеутренний бунт мартышечья родня — с десятков бурых капуцинов, воры и разбойники, каких свет не видал. Они тряслись на сетке, визжали, швырялись чем ни попадя и норовили спереть у зазевавшегося посетителя то панаму, то очки, то мороженое прямо из кулака; сопрут — и сидят наверху, скалятся, вертят добычу, довольные собой до неприличия. Павлины — эти бродили где вздумается, важные, глупые, и орали дурными кошачьими голосами, будто где режут ребёнка, а как выпросят у детей картошки фри — так распустият хвост и ходят гоголем. В бетонном прудике жил аллигатор — небольшой, тёмный, вечно недвижимый; он так редко шевелился, что детвора спорила, живой он или чучело, покуда он вдруг не моргал жёлтым глазом, и тогда визгу было на весь Колдуэлл. В дальнем вольере доживал век верблюды Моисей — древний, моль его будто ела, горб свесился набок, а глаза печальные-печальные, как у пророка, что сорок лет водил народ по пустыне да так никуда и не вывел; Моисей плевался метко и вонял на весь белый свет, и дети его обожали. Была там ещё пара черепах, которых кто-то в незапамятные времена окрестил Адамом и Евой; они жевали салат медленнее, чем шло время, и, кажется, собирались всех пережить. А в клетке у входа сидел старый ара — сине-жёлтый попугай по кличке Капитан, которого прежний смотритель, пьяница и матерщинник, выучил таким словам, что баптисты из церквушки через дорогу крестились, а директор всё грозился накрыть клетку одеялом, да так и не накрыл, потому что Капитан был, что ни говори, главная звезда после слонихи.

А ещё жил там одноглазый рыжий кот-рысь — бобкэт, — которого подобрали на обочине сбитым, выходили, да так и оставили: в природу такого уже непустишь. Другой глаз у него затянуло бельмом, и глядел он на мир вкось, как бы искоса, недоверчиво. Смотритель Том Джедд к этой рыси имел особую слабость и, проходя мимо, всегда совал ей сквозь сетку кусок повкуснее. Потому, может, что и сам глядел на мир вкось.

Ибо и сам Том был не красавец. Двадцать три года, длинный, нескладный, весь из локтей да коленок. Одно ухо у него торчало оттопыренным лопухом, а второе прилегалось как положено, отчего голова его вечно казалась чуть свёрнутой набок, будто он к чему-то прислушивался. Зубы были не гнилые — крепкие, белые, — да росли вразнобой, кто куда, налезая друг на дружку, так что улыбался он редко и стыдливо, прикрывая рот кулаком. А главное — левый глаз у него косил: глядит Том на тебя, а глаз его тем часом уплывает куда-то в сторону, к твоему уху, и не поймёшь, тебе он смотрит в лицо или кому за спиной. В школе его за это дразнили — и Косым, и Локатором, и ещё похуже, — и оттого вырос он тихим, пугливым и до смерти застенчивым, особенно с девушками. С девушками он и вовсе двух слов связать не мог: краснел, потел, глотал язык. Двадцать три года прожил, а ни одной ещё не целовал, ни одной не касался; девушек он боялся пуще Самсонова рёва, издали, как боятся глубокой воды, не умея плавать.

Родом он был из соседнего округа, из городишка, о котором и вспоминать не хотел. Отца своего Том не помнил вовсе — то ли сгинул, то ли и не было его, — а мать была разгульная, из тех, у кого в доме вечно чужие сапоги под кроватью, гульба, музыка, битые бутылки да чужой хохот за стеной. Мальцом он забивался в угол, зажимал уши и ждал, когда стихнет. А как подрос — собрал что было в мешок и ушёл, тихо, ночью, не хлопнув дверью, и мать, поди, и не заметила. Прибился к зоопарку случайно: искал любой работы, а взяли за гроши чистить за зверьём. И остался. И живёт теперь тут, у забора, в трейлере на блоках, и другого дома ему не надо. Тут звери. Тут его не дразнят.

А из всех зверей особый трепет вызывали в нём слоны.

Проснулся Том, как всегда, ещё в потёмках, за миг до того, как захрипит на телефоне будильник: тело само знало час. Глаз не открыл. Лежал на спине, на влажной от ночного пота простыне, в густом, парном, стоячем воздухе, который дряхлый кондиционер за ночь так и не перебороть, и слушал, как под ним, под полом, устраивается на день последняя прохлада,

шуршит, укладываясь в кольцо, полоз, и как снаружи, один за другим, включаются голоса. А под всеми голосами — под козодоем, львом, капуцинами и павлинами — жила ещё одна нота. Не для уха. Она шла снизу, из-под земли, из-под пола, поднималась по бетонным блокам, по железной раме трейлера, входила Тому в лопатки, в грудную кость, и там, в глубине, чуть слышно, страшновато гудела. Армади.

Слониха урчала на такой низкой ноте, что человечесьё ухо её почти не берёт, — а Том знал: и не ухом её ловить. Слоны, вычитал он давно в своей книжке, говорят на голосах ниже нашего слуха, и голоса эти уходят под землю и бегут на многие мили, а слышат их другие слоны не ушами — ногами: ступнями чувят дрожь земли, как чувят её кости. Вот и Том выучился слушать её так же — всем телом, костями, как слушают, положив ладонь на грудь спящему: дышит ли, живой ли.

— Скоро, — сказал он в тёмный потолок, не разлепляя глаз, сипло со сна. — Ну, скоро уж, девочка. Потерпи.

Он открыл глаза. За окошком, в мутном молоке уходящего тумана, серело. В верхнем углу оконной рамы, снаружи, лепилась серая трубчатая мазанка из засохшей грязи — соты осы-гончара; хозяйка ещё спала. По москитной сетке, вверх головой, сидела зелёная ящерка-анолис и мерно, как заведённая, кивала, раздувая под горлом розовый пузырь, — грозила кому-то в пустом дворе, кланялась восходу. Том поглядел на неё и не двинулся. Хорошо было эту минуту не двигаться.

Потом сел, свесил ноги. Пол под босыми ступнями был уже не холодный — тёплый, чуть липкий. Всё тело со сна ныло и потрескивало по-молодому, от работы. Он потёр лицо, зевнул во весь свой вразнобойный рот и обвёл глазами жильё. Десять шагов вдоль, четыре поперёк.

Тут всё говорило про него разом две правды. Одна была — бардак: джинсы валялись комом там, где он из них вчера выступил, одной штаниной наизнанку; носки врозь; а на бумажной тарелке доживал третий день ломоть пиццы-пепперони — сыр застыл и побелел, край скрутился в трубку, как осенний лист. Треснутый телефон лежал экраном вверх, трещина шла наискось, лучами, как идёт по льду весной: уронил месяц назад на бетон, когда в грозу бежал к слонихе, да так и не собрался на новый; заряда двенадцать процентов, сообщений — ноль. Ему и писать-то было некому. А другая правда была — порядок, островками, в самой гуще бардака: рабочие рубахи сложены на полке стопкой, рукав к рукаву, ровнёхонько, будто в лавке, — это он сам себя приучил, нарочно, чтоб хоть тут, у него, было не так, как в материнском доме, где всё вечно валялось вверх дном, залитое да разбитое. Тому важно было, чтоб хоть угол на свете был прибран его собственной рукой.

Семейных карточек на стене не висело — некого было вешать, да и незачем. Зато над столом, приклеенная скотчем, держалась растрёпанная, зачитанная до дыр детская книжка с картинкой: слонёнок тянет через ограду хобот. Ту книжку Том мальцом стянул из школьной библиотеки да так и не вернул — единственная кража за всю его честную жизнь. В том шумном, пьяном, страшном доме она была ему тихой норой: он забивался с ней в угол, закрывал уши и уходил туда, к слонам, в жаркую даль, где, он верил, всё большое, доброе и надёжное. На подоконнике стоял ещё дешёвый пластмассовый слонёнок, облупленный, из автомата с игрушками, — вот и вся его родня.

Он натянул вчерашние джинсы, пошлёпал босой к плитке, поставил кофе — чёрный, пустой; сахар кончился неделю как, а идти за ним да тратить последнее — обойдётся. Плеснул воды в жестянку Блю, своему псу, синему хилеру, бросил горсть корма; пёс застучал когтями по линолеуму. Оконный кондиционер вдруг захрипел, поперхнулся, издох было совсем — и снова затарахтел, уронив на подоконник ржавую слезу.

— Живи ещё, — сказал ему Том. — Нам с тобой только и осталось, что кое-как тарахтеть.

Он влез в сапоги — те стояли у порога кверху голенищами, растоптанные, в белых разводах соли и навоза, — прихватил из-под койки припасённое загодя и толкнул хлипкую дверь.

И в лицо ему дохнуло разом двумя Техасами: остатком речной прохлады, что ещё держалась в тумане у самой земли, — и сверху, из-за края света, уже наваливающимся жаром.

В руках у Тома был арбуз. Большой, тяжёлый, тугой, в тёмных полосах — он купил его вчера у придорожного грузовичка на последнюю пятёрку и всю ночь держал в тазу с водой, чтоб к утру был попрохладнее. Раз в неделю Том позволял себе эту трату — не себе, ей. Потому что не было на свете картины, ради которой он охотнее отдал бы пятёрку.

Слоновник встретил его тёплой, густой темнотой и тем духом, от которого у Тома всякий раз отпускало что-то в груди: духом сена, тёплого навоза, пыли, старой кожи — духом огромного, доверчиво спящего живого. Он не стал зажигать верхний свет — только лампочку у входа, — и в её жёлтом дрожащем пятне выступила из темноты она. Армади.

Серая гора. Индийская слониха, с ушами поменьше, чем у африканской родни, будто кто обрезал их по краю, — рваными, тёплыми веерами; лоб в две шишки, глаза маленькие, в частоколе жёстких ресниц, а шкура вся в трещинах — как та земля снаружи, только живая, только тёплая, и в каждой борозде осела своя пыль, свой рисунок. Слон, знал Том, оттого и обсыпает себя пылью да мажется грязью, что шкура у него хоть и в палец толщиной, а чуткая — комара на себе чувствует; вот и пудрится, спасаясь от гнуса да от солнца. Армади была на сносях — тяжело, неудобно, невозможно на сносях. Носила она почти два года, двадцать второй месяц, — дольше всех зверей на земле носит слониха, — и Том за эти месяцы весь извёлся, считая дни. Живот у неё отвис бурдюком, и она стояла посреди денника, устало перебирая ногами, покачиваясь, потому что и стоять было тяжко, а лежать ещё тяжче.

Она повернула к нему голову. Драное ухо колыхнулось. Хобот пополз по воздуху — длинный, живой, будто отдельная от неё змея, — и Том всякий раз дивился на него, как впервые: в хоботе, рассказывают, тысяч сорок мускулов, и он один поднимет бревно, и он же снимет с земли единственную соломинку, ухватив её тем чутким пальчиком, что рос у самого кончика. Хобот тронул его грудь, обшарил, и вдруг, учуяв, замер, а после весь потянулся, задрожал, засопел жадно: арбуз. Она всегда первым делом знала карман, а нынче учуяла и праздник.

— Чуешь, чуешь, попрошайка, — сказал Том, и голос его в пустом гулком сарае вышел мягкий, счастливый. — На, держи. Твой любимый.

Он положил арбуз на пол. Армади не стала мельчить. Она занесла ногу — тяжёлую, как свая, — и опустила её на арбуз, и тот лопнул со смачным, сочным треском, брызнув во все стороны розовым, и по слоновнику поплыл сладкий, свежий, до слёз летний дух. И тогда она принялась есть — не жадно, а со вкусом, с достоинством, подбирая хоботом алые куски, и сок тёк у неё по хоботу, капал с бивней-коротышек, и она блаженно жмурила маленький глаз, и урчала, урчала от удовольствия, тихо, как урчит огромная довольная кошка. И Том стоял, привалясь к столбу, и глядел на неё, и не было в ту минуту на всём белом свете человека счастливее.

— Ешь, красавица, — сказал он тихо. — Тебе теперь за двоих.

Он подошёл, положил ей ладонь на бок. Бок был горячий, живой, в редкой седеющей щетине. И под ладонью, глубоко, будто за толстой стеной в запертой комнате, — толкнулось. Раз. Другой. Том замер, растопырил пальцы, ловил эти толчки, как ловят ладонью далёкий, идущий из-за края земли гром.

— Вон он как бьётся, — прошептал. — Боец. Уж недолго тебе, потерпи.

Он гладил её по боку — вверх-вниз, вверх-вниз, — и говорил, как говорил всегда, для неё одной, потому что больше и некому было:

— Знаешь, Армади, чего я тебе скажу. Я ведь баб-то живьём боюсь пуще твоего Самсона. Двадцать три года мужику, а ни одной не целовал, веришь? Гляну на девку — и весь язык проглочу, стою, как пень, глазом кошу. — Он усмехнулся невесело, тронул своё оттопыренное ухо. — А чего им, девкам, во мне глядеть-то. Ухо вон лопухом, зубы враскоряку, глаз гуляет сам по себе. Одна ты меня, кривого, и любишь. — Он помолчал, и голос его тихо сел. —

А мамка... да ну её, мамку. Ты мне роднее всякой мамки, слышишь? Вы, слоны, своих не бросаете. Верховодит у вас не самый горластый, а самая старая да мудрая слониха, бабка; и малыша нянчит не одна мать, а все тётки скопом, целый хоровод. У вас никто не сирота. — Он сглотнул. — Мне бы к вам родиться.

Армади повела головой, и хобот отыскал его лицо — обвёл щёку, косящий глаз, оттопыренное ухо, —дохнул тёплым, влажным, арбузным. Том закрыл глаза и стоял не шевелясь. И в этой тёплой, терпеливой, всё принимающей ласке ему было надёжнее, чем в любом человеческом слове, какое ему за всю жизнь говорили.

Пока он вычистил денник, натаскал воды и свежего сена, туман сошёл весь, и солнце встало по-настоящему — не то раннее, персиковое, а белое, отвесное, злое. Тень под дубами съёжилась в лужицы. Рубаха на спине у Тома взмокла, прилипла, и он утирался плечом, оставляя на рукаве светлые соляные разводы. Зоопарк вокруг просыпался на весь свой обычный день: тряслась и визжала капуцинова братия, требуя завтрак; орал ни к селу ни к городу павлин; из клетки у входа Капитан-попугай во всё горло послал кого-то по такому адресу, что Том прыснул; а Моисей-верблюд, завидев человека, вытянул печальную морду и на всякий случай плюнул — не попал, но душу отвёл.

Директор приехал к восьми, как всегда, на пыльном пикапе, и рыжая пыль ещё долго висела за ним в стоячем воздухе. Бад Пикетт вылез, крикнув, — грузный, потный, в мокрой на спине рубашке, в мятой соломенной шляпе, с незажжённой сигарой в зубах. Сигару эту ему давно запретили врачи, и он её не курил, а только жевал да перекачивал из угла в угол: бросить совсем было бы уж слишком, а так вроде и при деле.

— Ну как она, наша принцесса? — Бад кивнул на сарай, отдуваясь, вытирая красную шею платком.

— Тяжело ей, Бад. Пинается вовсю. Со дня на день теперь.

— Ох, слава богу, хоть бы уж. — Бад пожевал сигару и вдруг проворчал, покосившись на слоновник: — Ты хоть знаешь, во что она мне обходится, эта твоя красавица? Жрёт в день пудов десять сена да травы — и столько же почти вываливает обратно. Ест мой бюджет с одного конца, а прибыль роняет с другого. — Он невольно хмыкнул собственной шутке, но глаза остались невесёлыми. — Смешно, а плакать хочется. Касса-то — видал? Полтораста человек в субботу. А раньше по тыще толклись. Не тянем, парень. Который год не тянем.

Он подошёл ближе, оглянулся — хоть слушать было некому, кроме мух да пса, — и понизил голос.

— Тебе одному скажу, не разноси. Ещё пара таких лет — и запрут нас к чёрту, и разгонят всех по чужим зверинцам. А я куда? Старый, толстый, с одной сигарой в зубах, которую и закурить-то нельзя. — Он вздохнул тяжело, всей грудью. — А вот если малыш родится здоровеньким — может, и выплывем. Слонёнок, а! Детёныш! Люди на детёныша повалят, помяни моё слово: газеты, телевизор, автобусы со школотой. Может, он-то нас всех и спасёт, кроха. Ты уж его... как ты его загодя-то кличешь?

Том смутился, отвёл косящий глаз в сторону.

— Никак пока. Родится — назову. Загодя нельзя, примета плохая.

— Суеверный, — фыркнул Бад, но не зло. Помолчал, глядя на пыльные дубы, пожевал сигару и добавил ворчливо, будто не хвалил, а корил: — А всё ж таки ты, Джедд, с этими зверьими ладишь лучше всех, кого я на своём веку перевидал. Другой бы её, брюхатую, давно загубил, а у тебя она — как сыр в масле. — Он крикнул, словно устыдясь собственных слов. — Ну. Держи её. И сам держись. Про грузовик твой знаю, звонили из банка. Не раскисай, сынок.

Он полез в пикап, крикнул, хлопнул дверцей и уехал, оставив рыжий хвост пыли. А Том стоял и думал: вот ведь. Ещё и не родился, а уже всем всё должен. И зоопарк ему спасать, и Бада, и Армади, и, стало быть, меня заодно. Ну и жизнь тебя ждёт, кроха. Тяжело тебе будет на этом свете.

К десяти отперли ворота, и потянулся редкий субботний народ: семьи с колясками, старики в панاماх, липкие от жары дети с подтаявшим мороженым, что текло по кулакам. Мэй Том приметил у киоска с содовой и хот-догами — она протирала тряпкой прилавок, и над головой её билась о жестяной козырёк оса.

Мэй он в открытую разглядывать не смел, оттого разглядывал украдкой, воровато, косящим своим глазом. Была она не первой молодости, за тридцать, а всё равно у Тома всякий раз перехватывало дыхание. Тёмные, с рыжинкой, волосы собраны на затылке в наспех закрученный узел, и мокрые прядки прилипли к шее. Голубая застиранная рубашка с вылинявшим слоником на груди. На щеке — смазанное пятнышко, не то сажа, не то помадка. А руки — руки Том замечал первым делом: рабочие, красные, потрескавшиеся от хлорки да вечной воды, с обломанными ногтями. Живые руки. Красивые. И одна морщинка у губ, от смеха. Вот эту морщинку он любил больше всего на свете и всё думал по ночам, каково бы это было — коснуться. Да где там. Не про него.

— Джедд! — окликнула она, и Том вздрогнул, будто застучали за чем стыдным, и залился краской до самых своих оттопыренных ушей. — Ты чего сегодня туча тучей? На, держи, пока не сварился.

Она сунула ему через прилавок запотевшую банку колы, ледяную. Пальцы их на секунду соприкоснулись — её, красные, потрескавшиеся, и его, в мозолях, — и Тома будто током прошибло, а Мэй и не заметила.

— Спа... спасибо, Мэй, — выдавил он, глядя в сторону, потому что в лицо ей глядеть не мог. — Я отдам.

— Да брось. Спишу на слона. — Она усмехнулась, поправила прядь тыльной стороной руки, и, глянув, как он мнётся да краснеет, покачала головой не то с насмешкой, не то с жалостью. — Чудной ты, Джедд. Ты вон со своей слонихой воркуешь — заслушаешься, соловей соловьём. А со мной двух слов не свяжешь. Приревновать, что ли? — И засмеялась, а Том стоял пунцовый, и язык у него присох намертво. — Да не пугайся ты. Шучу. — Она вдруг посерьёзнела, и в глазах мелькнуло что-то усталое, бабье, невесёлое. — Оно и к лучшему, что смирный. Мужики-то все как мой бывший: наврут с три короба, обрюхатят да и сбегут за горизонт. А ты хоть не наврёшь. По тебе ж всё видать, кривой ты мой. — Сказала — и сама будто спохватилась, что лишку сказала, и отвела глаза.

— Мам, а можно я слона посмотрю? — Из-за прилавка вынырнула Роузи. Шесть лет, вся в конопушках, панамка набекрень, коленки ободраны, а глаза — огромные, серьёзные — уставились на Тома снизу вверх. — Дядя, а у тебя правда-правда слон? А чего он такой большой?

— Правда, — сказал Том, и с ребёнком язык у него сразу развязался, потому что дети над его глазом не смеялись. — А большой оттого, что добрый. Пойдём, покажу.

Он подвёл девчонку к барьеру, и Мэй пошла следом, вытирая руки о джинсы. Армади, заведев чужих, качнулась было в глубину денника — она чужих не жаловала, — но потом, разглядев маленькую, шагнула, наоборот, ближе, наклонила огромную голову и медленно, осторожно потянула хобот вниз, к девочке. Роузи ойкнула, вцепилась матери в джинсы, но не сбегала. Хобот подплыл, невесомо тронул её панаму, потом щёку,дохнул тёплым, обнюхал с влажным присвистом, пощекотал. Девчонка замерла — а после засмеялась, звонко, взалёб, до визга, как смеются только в шесть лет, когда мир ещё не обманул.

— Она тебя нюхает, — тихо сказал Том. — Знакомится. Слоны, они по запаху всё про человека понимают, и помнят потом всю жизнь. У них память — дай бог каждому: кого раз встретили, того и через двадцать лет узнают.

— А чего она грустная? — вдруг спросила Роузи, серьёзно наморщив конопатый нос. — У неё папы нету, да?

И Том осёкся. И Мэй осеклась. А Том, помолчав, сказал ровно, тихо:

— Нету, дочка. Да ей папа и не больно нужен. У слонов папку из семьи гонят, как подрастёт, — скитаться. А деток растят одни матери да тётки, всем гуртом. Оно и без папки прожить можно, коли мать хорошая. — Он сказал это девчонке, а вышло будто себе; и Мэй, услышав, поглядела на него быстро, искоса, по-новому, и рот прикрыла красной рукой, и глаза у неё были на мокром месте, и она этого не спрятала.

И стояли они втроём у ржавого барьера — нескладный косой парень, усталая женщина и конопатое дитя, — и старая слониха ласкала хоботом чужую девочку, как ласкала бы своё, ещё не рождённое. И на одну минуту всё это было похоже на то, чего у Тома отродясь не было и о чём он и мечтать себе не смел, чтоб зря не бередить. На семью. На дом. На жизнь, которая могла бы быть, да, видно, не про него была писана.

— Ну, будет, — сказала Мэй вдруг хрипло, спохватившись, и подхватила дочь. — Дай дяде работать. Спасибо, Джедд.

— Это тебе спасибо, — сказал Том, а за что — сам не знал.

К полудню пекло перевалило за сотню, и над дорожками задрожало марево, и зоопарк опустел — попрятался народ по тени, по машинам. Звери и те притихли: Самсон дрых, капучины развалились в теньке, аллигатор вовсе прикинулся камнем, и один Моисей стоял на солнцепёке, жевал да глядел печально в никуда. А на западе, над плоским краем земли, начали копиться те самые башни. Синие снизу, лиловые, а поверху ослепительно-белые, кипящие, они росли на глазах, лезли в выцветшее небо, и в глубине их беззвучно, сухо полыхало. Пахнуло откуда-то дальней сыростью — ещё не дождём, а только обещанием.

И звери почуяли грозу раньше людей. Капучины сорвались, заметались, завизжали. Самсон встал и заходил вдоль решётки, кашляя. Павлин заорал. А Армади в своём сарае забеспокоилась, зашаркала, замотала головой, и урчание её сделалось другим — глубже, тревожнее, — и Том, стоя посреди горячего, наэлектризованного, дрожащего от близкой грозы двора, вдруг всем нутром почуял: сегодня. Может статься, сегодня в ночь.

Ближе к вечеру зоопарк закрыли, и повалил редкий народ к воротам, и духота начала — самую малость — оседать. Уходя, прошла мимо Мэй с Роузи на руках: девчонка сомлела от жары, уснула у неё на плече, посапывая, и панама съехала. Мэй приостановилась, поглядела на Тома через сетку.

— Ты там поосторожней ночью-то, — сказала тихо, чтоб не разбудить дочь. — С грозой этой. И с толстухой своей. Случись чего — ты звони, слышишь? Хоть в три ночи. Приеду. — Помолчала и добавила, чуть усмехнувшись, но глаза были невесёлые: — Не одна ж ты на всём белом свете, кривой. Хоть и думаешь, что один.

И пошла к своей раздолбанной машине, унося на плече спящего ребёнка, а Том глядел ей вслед, пока не улеглась пыль, и сердце у него ныло сладко и больно разом.

Ворота заперли. Бад уехал последним, посигналив. И остался Том один — как всегда, один — со своими зверями, со своим псом, со своей бедной обшарпанной вселенной, что тонула в лиловых сумерках. Он сел на ступеньку трейлера с тёплой бутылкой пива — холодную приберёт, не стал переводить последнюю на себя, — и Блю привалился к его ноге горячим боком и вздохнул совсем по-человечьи. Солнце садилось за грозовые башни, и они горели по краям малиновым да золотым, а внутри уже чернели, и в черноте перемигивалось. Смолкли цикады. Завели своё сверчки. И опять, из темнеющих дубов, затянул козодой своё тоскливое имя.

Том достал треснутый телефон. Голосовое из банка. Слушать не стал — и так знал. Восемь дней. Сунул телефон обратно, отхлебнул тёплого горького пива и стал глядеть, как гаснет над Техасом день, и думал разом обо всём, как оно у человека и водится, когда он один и устал. О грузовике и восьми днях. О матери, о которой лучше не думать. О книжке про слонов, что спасала его в детстве. О том, как славно стояли они давеча втроём у барьера. О красных

руках Мэй и о морщинке у губ. «Не одна ж ты, кривой». И о том, что, может, ещё и сложится у него что-нибудь, у дурака; может, не всё ещё пропало.

А потом сквозь ступеньку, сквозь бетон, сквозь саму землю в него опять вошла та дрожь. Армади. Она урчала в темноте — низко, длинно, тревожно, — и урчание было теперь не такое, как ночью. Настоячивее. Ближе.

Том поднялся, и сердце застучало часто, в самом горле. На западе беззвучно распорол полнеба лиловый зигзаг, и через долгую-долгую секунду докатился, ворча, дальний гром — первый. Потянуло ветром, горячим ещё, пыльным, но уже с сыростью в глубине. Где-то хлопнул отвязавшийся брезент.

Он толкнул дверь слоновника. В тёплой густой темноте, в жёлтом пятне лампы, огромной тенью качалась, переступала, мотала головой Армади, и по бокам её пробежала дрожь, и хвост был приподнят. Она повернула к нему голову, и в маленьком глазу её, в частоколе ресниц, стоял тот самый древний, старше всех слов вопрос: пора.

Том положил ей ладонь на горячий, дрожащий бок. Под ладонью, глубоко, толкнулось — сильно, требовательно. И снова докатился, ближе уже, гром.

— Ну вот, девочка, — сказал он тихо, и голос его дрогнул, а рука — нет. — Кажись, началось. Не бойся. Я тут. Мы с тобой сами.

И за стеной, над выжженной рыжей землёй, что так похожа была на её старую шкуру, наконец сорвался и упал — тяжёлый, тёплый, первый — крупный, как виноградина, дождь.

(конец первой главы — продолжение следует)

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.